

Марина ТОКАРЕВА

## ЛЕВ МЕЖДУ СОФЬЕЙ И АННОЙ

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ «РУССКИЙ РОМАН» МИНДАУГАСА КАРБАУСКИСА

*...Вся наша жизнь – вокзал: в клубах паровозного дыма, с чемоданами, лихорадкой проводов или отъезда. Место действия – «везде и нигде». Здесь Вронский встретил Анну. Каренина бросилась под поезд. На станции Астапово умер Толстой. Вокзал – сквозняк метафоры – все едут, трогаются, отправляются, а приехать не могут. Или прибывают прямо в финал.*

Пролог и эпилог спектакля поменялись местами: граф и графиня, муж и жена, великий писатель и спутница сорока восьми лет его жизни разговаривают на опустевшей платформе. Он – голос в воздухе, она – пожилая дама с зажатыми в руке деньгами. Кто-то из проходящих принимает ее за жену сцепщика из «Анны Карениной» («это вашего мужа задавило? Возьмите!»).

Все решает финал, – вызывает Софья Андреевна к бестелесному голосу, – заверши меня!

Так начинается спектакль «Русский роман» на сцене Театра Маяковского. Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс, постановщик Миндаугас Карбаускис. Вместе они «завершают» свою версию истории Льва Толстого. Ивашкявичюс следует вересаевскому принципу: что пошлее, чем изображать гения? Толстого тут нет. Только в сцене, где Софья Андреевна бьется на мерзлой яснополянской земле, не желая подняться, не даваясь ни сыну, ни доктору, вдруг будет обозначено его приближение, раздастся фраза: «Он идет сюда!». И все замрут, и вскочит немедля сама Софья Андреевна...

В трех с половиной часовом ходе спектакля умещаются самые знаменитые узлы толстовской канвы: вот Левин в деревне мучается тоской, вот он дает Китти свой интимный дневник, как некогда дал его Соне Берс перед венчанием сам Толстой. Вот знаменитая сцена любовного объяснения – мелом на сукне стола; но в ней снята вся патетика, звучат неожиданно комические ноты (в стороне за диктантом наблюдают и подталкивают Китти мать и сестры)...

«Анна – это я!», – сказал Толстой, и Каренина, Китти, Левин в спектакле реальные люди – наравне с Софьей, Александрой и Львом

Львовичем Толстыми; опыт жизни питает опыт художественный. И мы – свидетели того, как жизнь пишет писателя: жестоко.

Сергей Бархин, автор пространства, ставит на сцене четыре колонны, часть фасада барского дома, античную вертикаль, голландскую печь, стог на заднем плане прикрывает рогожей. Здесь живет Левин: мебель в первом акте сгрудилась, вздыбилась ножками стульев, потом, во втором акте холостяцкий уют сменит стройная обстановка семейного дома.

И Левин (Алексей Дякин) будет примеряться к роли хозяина, пахать шпагой, попадая «косою» в такт отмашке мужиков.

Ивашкявичюс сумел сложную ткань толстовской биографии сделать проницаемой. В его тексте, соединяющем документ и притчу, есть некая умная простота в обращении с гением, которая дается тому, кто внутри себя гения выстрадал и остается с ним в сокровенных отношениях.

Но что в нем такого русского, в этом русском романе?

Может, сам сюжет, в котором 82-летний писатель и его 66-летняя жена, родившая тринадцать детей, из которых выжили восемь, переписывавшая не единожды все его романы, ведут друг с другом войну за любовь и свободу, за право обладать и не принадлежать, страдают, прощают и проклинают друг друга? Может, тяжелая неуживчивость раздора истинных обстоятельств с проповедью любви и добра? Или то, что, прожив такую жизнь, они больше не могут разговаривать. Хоть кричи на весь дом, не услышат. (Кто был в Ясной, помнит: скромный домик со множеством небольших, слабо изолированных комнаток.)



Сцена из спектакля.  
Фото С. Петрова

Так на этой земле дышит почва и так берет свое судьба: не измениться, не изменить гибельный «ход поезда»... И всплывают строки, прямо отмыкающие происхождение: *«Пророческая власть поэта / Бессильна там, где в свой рассказ / По странной прихоти сюжета / Судьба живьем вставляет нас...»*, а в воздух спектакля поднимается вопрос: мог ли вообще Толстой любить?

Ключевые сцены возникают в перекрестье дневниковых свидетельств. Софья Андреевна и Лев Николаевич почти ничего от бумаги не скрывали.

«К чему свобода, когда мы всю жизнь любим друг друга и старались сделать все радостное друг для друга», – писала она. «Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть», – писал он.

И в спектакле – два треугольника, что зеркально отражают, оттеняют друг друга. Анна-Каренин-Вронский. И Софья Андреевна-Толстой-Чертков. В последний год жизни Льва Николаевича одержимость Чертковым, его

секретарем и другом, борьба с ним за «моего» Левочку, сводили – почти буквально – жену Толстого с ума. Чертков для нее был дьявол, враг. Отнял любовь мужа, присвоил дневники. А что, что там, в этих дневниках 1900-х годов? Какая тайна? Сегодня известно: последних итогов.

Решающие сцены в спектакле так и обозначены: «изба, дьявол» и «дьявол – изгнание». Черткова и Аксинью, любовницу Толстого, играет Татьяна Орлова.

В избу к Аксинье, истраченной, неузнаваемой, графиня приезжает «для последних расчетов». И страшен разговор двух пожилых женщин, бывшей любовницы и жены, героинь великой прозы, – комичен и ужасен одновременно.

Блестящая работа Орловой хороша еще и уверенным, не агрессивным пребыванием в двух половых ипостасях, ее Чертков – не породистый красавец-аристократ, а некто в облике приказчика, счетовода всех высказываний

гения, письменных и устных. Есть сцена, в которой он будет говорить с графиней на два голоса, бес и человек в одном. И вытрет вспотевший лоб красным платком Аксиньи.

Карбаускис – редкий дар – обладает способностью эпического мышления: летучий эпизод, когда на краю просцениума замирают, взгляды друг в друга Соня-невеста и Софья Андреевна-жена, – трепещущая девочка и изможденная женщина, вбирает весь код драмы, в этой зеркальности – ее пролог и эпилог.

Не в быту разворачивается происходящее. Скорее в постскриптуме жизни. Тут вдруг остро прозвучат «не хрестоматийные» слова, которые осудят Толстого, национального гения, отнявшего в канун страшных испытаний у русского общества веру...

...Красные кровавые перчатки Анны (Мириам Сехон) – знак того, что произойдет. В это же время другая героиня на всю Россию крикнет: «Я любви искала и не нашла...». И руки персонажей толстовской истории, вымышленных и реальных, обнимающие и удерживающие Анну, станут тисками, объятиями, и снова тисками.

Так Толстого толкала в путь требовательная любовь жены, детей, бесчисленных читателей – просителей, так боль толкала Каренину на рельсы. Все в этих роковых русских треугольниках на краю, – горячка отчаяния, стыд, смертная истома...

...Софья Евгении Симоновой суетлива, некрасива, измучена, избыточно говорлива. И казалось бы, трудно сочувствовать непреходящей истерике немолодой дамы, а сочувствуешь, и как еще. Сцена, в которой Софья Андреевна не может пробиться к постели, на которой умирает Толстой, не расступается перед ней стена сомкнутых спин, не пускает, вдруг зримо дает ощутить страшное ее одиночество. Чужие ловят каждый вздох, каждое слово, жадно учитывая, что оно – предсмертное. Надо услышать, донести до потомков. А она мечется за спинами, ей надо успеть сказать. Не успела. Даже хлеб прощального обеда, собравшего всех детей за столом, в ее руках делается деревянным.

О, этот не подлежащий завершению русский роман! Слово не одна только Софья Андреевна – объект любви и ненависти гения,

а и сама почва, родина, русская баба, носившая, рожавшая, хоронившая, растерзанная сражениями за свободу, воспетая и покинутая. Всем существом так жаждавшая понять, зачем живем, зачем страдаем...

В финале звучит длинное письмо Льва Львовича Толстого матери из Америки. Она читает письмо в Ясной: уже Керенский воцарился, вокруг Тулы горят усадьбы... И будущее, чье время еще наступит, смотрит в лицо прошлому, чье время истекло, а в письме – нелепые иллюзии, за которыми мелькает напрасно потраченная жизнь сына. Но Софья Андреевна, с которой теперь «на смерть осталось» все ее кипящее страстями, болью и ревностью, полетами духа и корчами плоти существование, отменно смотрит в письмо, улыбается тени...

На мой взгляд, самая сильная сторона еще строящегося, еще возникающего спектакля, то, что за сценами, за героями, за репликами мелькает громада Толстовского присутствия.

Спектакль – четвертый в новой истории Маяковки с момента прихода Карбаускиса – очевидный сертификат подлинности. Русский роман литовского режиссера, вопреки рассказанному, складывается счастливо.

Т. Орлова – Чертков.  
Фото С. Петрова

